



полития

С. И. Каспэ

## ДЕВЯНОСТЫЕ: УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИТИИ

Святослав Игоревич Каспэ — доктор политических наук, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный редактор журнала «Полития». Для связи с автором: [kaspe@politeia.ru](mailto:kaspe@politeia.ru).

**Аннотация.** В девяностые годы, после краха СССР, была учреждена та российская полития, которая продолжает существовать до сих пор. Под политией здесь понимается макросоциальная общность, интегрированная определенным политическим порядком, то есть устойчивым набором институтов и акторов, а также нормативных стандартов организации их взаимодействий, формальных и неформальных. Под учреждением — серия событий, в результате которых устанавливаются эти наиболее фундаментальные рамки политического действия, репертуар его сценариев, поведенческих стереотипов, стратегий и тактик.

Негативный миф о девяностых, в последние годы доминирующий в российском публичном дискурсе, описывает их как время катастрофы и деградации. Не без оснований; но в рамках этого мифа почти игнорируется, что то же самое десятилетие было и временем созидания. И потому актуальное состояние России не может быть понято без внимания к обстоятельствам ее учреждения.

В статье описываются некоторые ключевые особенности современной российской политии, возникшие в девяностые годы, — «сухой остаток» учредительной эпохи. К ним автор относит: электоральную легитимность верховной политической власти; непартийное президентство; капитализм как экономическую подоснову политического порядка; федерализм как принцип территориальной организации политического пространства; свободу ассоциаций; свободу вероисповедания; открытость границ. Этот перечень не закрыт: есть и другие элементы конструкции российской политии, способные претендовать на статус конститутивных. Однако радикальная перемена не только всех этих установлений вместе взятых, но и любого из них по отдельности означала бы очередное переучреждение политического сообщества в целом.

**Ключевые слова:** российская полития, девяностые, легитимность, президентство, федерализм, свобода ассоциаций, свобода вероисповедания, открытость границ

Я проще хочу сказать, чтобы всем было проще и понять,  
что мы ведь ничего нового не изобретаем.

Мы свою страну формулируем.

Виктор Черномырдин, 1998 г.

<sup>1</sup> <https://history90.ru>.

**От автора.** Этот текст первоначально был написан для проекта Ельцин-центра и Фонда ИНДЕМ «90-е: История Великого Поворота»<sup>1</sup>. К сожалению, выход в свет многотомного издания, которое должно увенчать это замечательное начинание, но не зависящим от его инициаторов причинам задерживается. Между тем в 2021 г. исполняется 30 лет с момента начала девяностых — начала и календарного, и исторического, ознаменованного падением коммунистической власти, распадом СССР и возникновением независимого государства под названием Российская Федерация. Мне показалось логичным все-таки выпустить подготовленную статью именно в этом году. Не менее логичным был выбор для этой цели «Политии» — ведь наш журнал сам по себе является детищем девяностых, ни в какую другую эпоху он и не мог бы возникнуть. Редакционная группа проекта дала на такой шаг свое любезное согласие, за что я выражаю коллегам искреннюю признательность (присоединяя к ней надежду, что столь важное дело все же сдвинется с места и придет к желаемому завершению). Нижеследующая версия текста, скорее всего, является предварительной и для книжной публикации будет доработана. Но — не принципиально. Ее основные положения останутся без изменений.

Второе и третье из слов, составивших заглавие, нуждаются в пояснении. Не только потому, что общее правило академического письма требует определения и операционализации используемых терминов (ведь на самом деле предлагаемые рассуждения носят не вполне академический характер). Но и потому, что само внимание к семантике этих понятий уже подводит к той интерпретации духа и содержания обсуждаемой эпохи, которая дальше будет раскрываться на конкретных сюжетах и примерах.

*Полития* (*πολιτεία*, polity) — аристотелевская категория, использовавшаяся Стагиритом двояким образом. Во-первых, она отсылает к образу умеренного правления — то есть такого, которое, не уклоняясь в опасные увлечения умозрительными идеалами, сообразуется прежде всего со здравым смыслом и здоровой нравственностью. Такого правления, которое не оскорбляет ни этическое, ни эстетическое чувство. Такого правления, которое обеспечивает гражданам безусловную свободу в их частных делах и условную — ограниченную индивидуально принятой на себя солидарной ответственностью и только ею — в решении дел общих. Этот ракурс тоже имеет некоторое отношение к девяностым — потому что примерно таким и был образ желаемого будущего в начале исследуемой эпохи. И идея «социализма с человеческим лицом» (из

которой довольно быстро и совершенно безболезненно оказался элиминирован «социализм», а «человечность» осталась), и программа «деидеологизации» и «департизации», и апелляции к «общечеловеческим ценностям», среди которых на первом месте тогда находилась свобода (но не столько абстрактная свобода вообще, сколько конкретная, индивидуальная свобода жить и в особенности потреблять как вздумается, что вздумается и когда вздумается), — все они были порождены и объединены упованием на то, что на смену унижительному и абсурдному советскому образу жизни придет иной, более справедливый и более разумный.

Однако Аристотель говорил о политике и в другом, менее известном, но, пожалуй, более глубоком смысле. Третья книга «Политики» начинается с различения между политией и полисом: «...Деятельность государственного мужа и законодателя направлена исключительно на государство (polis), а государственное устройство (politeia) есть известная организация обитателей государства»<sup>2</sup>. Отсюда можно вывести, что полития — это политически интегрированная макросоциальная общность, несводимая ни к совокупности узко понимаемых политических (в современности — обычно государственных) институтов, обеспечивающих распределение властных ресурсов и осуществление тех или иных политических программ, ни к отдельным политическим союзам и альянсам, функционирующим в ее пределах и стремящимся на эти процессы влиять. Она объемлет и те и другие (а также союзы гражданские, а также отдельных граждан) как социетальная рамка и политический порядок, то есть определенный набор элементов (акторов) и стандартов организации их взаимодействий<sup>3</sup>.

Соответственно, *учреждение политии* может быть описано как процесс складывания этого набора — серия событий, в результате которых устанавливаются, рутинизируются, делаются общепринятыми наиболее фундаментальные рамки политического действия, репертуар его сценариев, поведенческих стереотипов, стратегий и тактик. В русском языке слово «учреждение» легко прочитывается как указание на некий единичный акт — например, на принятие конституции, которое хотя и имеет известную временную продолжительность (конституции не возникают в один день), но все же в смысловом отношении представляет собой атомарное, неделимое событие, как бы обнуляющее собственную предысторию и становящееся точкой отсчета для всех последующих событий. Учредительные события «соотнесены с прочими событиями как индуцирующие, но не индуцируемые»; как «радикальные перемены контура возможных фигураций»<sup>4</sup>. Это важно и верно, но здесь речь идет несколько о другом — не о событии, взятом как таковое, в его уникальности, а об их ансамбле, образующем самостоятельное единство второго порядка, своего рода «событие событий». О том, что в английском языке называется establishment, во французском — établissement или, еще лучше, instauration (инставрация).

Следует специально подчеркнуть: учреждение политии не только не представляет собой единого акта, но и не является реализацией какого

<sup>2</sup> *Политика*: 1274b, 36—39.

<sup>3</sup> *Несколько иной (и более тонкий) анализ смыслов термина см. Ильин 2021: 19—20.*

<sup>4</sup> *Филиппов 2005: 24.*

бы то ни было и чьего бы то ни было единого проекта. Конечно, творцы событий вынашивают и осуществляют многочисленные проекты. Однако в подобные времена горизонт планирования предельно сокращается, ни один проект не реализуется так, как был задуман, «непреднамеренные последствия» накатывают лавинообразно, а на каждый хотя бы отчасти удавшийся замысел приходится десятки и сотни неудавшихся. То, что возникает в итоге, ни одним из этих проектов не предусматривалось и должно изучаться как результат органической и во многом хаотической эволюции, а не целенаправленного конструирования (транзита).

*Учредительной* может быть целая эпоха, целая череда наслаивающихся друг на друга, конфликтующих друг с другом, отменяющих друг друга и переопределяющих друг друга единичных событий. Она начинается тогда, когда размах и плотность этих событий радикально выходят за пределы допустимого и ожидаемого в рамках предшествующего стабильного (пусть динамически стабильного) состояния. Безусловно, некоторая преемственность учредительной эпохи по отношению к «Старому порядку» (Ancien Régime) имеет место, и Алексис де Токвиль еще в XIX в. на французском материале великолепно показал, как работают механизмы такой преемственности<sup>5</sup>. И все же учредительная эпоха есть прежде всего время порождения нового, время не только разрушения (тогда она была бы неотличима от полного краха, коллапса политического порядка, что в истории тоже случается), но и созидания<sup>6</sup>. А завершается учредительная эпоха тогда, когда амплитуда процессуальных флуктуаций значимо сокращается, вектор равнодействующей противоборствующих сил обрисовывается достаточно четко, границы доступного для них «коридора возможностей» сужаются и делаются общеизвестными, само собой разумеющимися. Тогда и становится ясно, что, собственно, было учреждено или, точнее, учредилось, установилось. Тогда проясняются те базовые свойства новой политики, которые не могут быть изменены без ее нового переустройства, — «круг „неприкосновенных оснований“ политического порядка»<sup>7</sup>. Тогда обрисовывается ее политическая форма в топологическом смысле слова — набор качеств, сохраняющихся при любых взаимно-однозначных и взаимно-непрерывных преобразованиях. Не все эти качества равновелики и не все очевидны, поскольку их часто затмевают конъюнктурные обстоятельства и режимные трансформации. Но именно они составляют «сухой остаток» учредительной эпохи.

Девяностые состоялись, завершились. Что не значит «кончились» — ни одна учредительная эпоха, даже завершившись (скорее свершившись), не кончается. Она продолжается до тех пор, пока политика не переустроена заново. Но что самое существенное было создано, сформировано, утверждено в те годы — такое, что продолжает определять порядок функционирования российской политики до настоящего дня (до начала третьей декады XXI в.) и, скорее всего, будет определять

<sup>5</sup> Токвиль 2008.

<sup>6</sup> От непосредственных свидетелей, участников и жертв драматических событий их позитивный, созидательный аспект чаще всего ускользает — и поэтому нуждается в отдельной реконструкции. В чем и состоит главная задача этого текста.

<sup>7</sup> Салмин 2010а: 524.

его и в ближайшей перспективе? Каков «сухой остаток» девяностых? Каков их резидуальный след в истории отечества, удержавшийся под напором всех потоков времени и событий, проверявших его на прочность и беспощадно сметавших нестойкие, окказиональные примеси? Что оказалось остовом, опорной конструкцией политики, мало чувствительной к эрозии или замене декоративных элементов (любимых или ненавидимых различными категориями наблюдателей, но, как показал опыт, не несущих полезной, в строго безоценочном смысле слова, нагрузки)? Надо специально подчеркнуть: под «опорной конструкцией» здесь понимается не только и не столько «миф основания»<sup>8</sup> как до некоторой степени когерентный, согласованный ансамбль представлений о том, кто мы, откуда мы, куда мы идем, сколько социальная и политическая реальность — являющаяся продуктом этого мифа, но и сам миф порождающая, производящая и поддерживающая.

<sup>8</sup> См. Schöpflin 1997; Малинова 2015: 10—32.

Прежде чем переходить к перечислению возникших в девяностые фундаментальных рамок политического действия (а также сценариев такого действия, поведенческих стереотипов, стратегий и тактик), нужно констатировать: главное, что осталось от девяностых, — это сами «девяностые» как неоспоримый факт публичного политического языка. Не снижающаяся (пожалуй что и возрастающая) частота апелляций к образу «девяностых» лучше всего свидетельствует, что так именуемая эпоха остается в фокусе любых рефлексий и о настоящем, и о будущем российской политики. Знак этих рефлексий (от крайне негативного до умеренно, с теми или иными оговорками, но позитивного) может быть разным, как и их глубина, в большинстве случаев подменяющаяся эмоциями, личными счетами, реальными (и фантомными) болями (и восторгами). «Врет, как очевидец» — эта поговорка применима к бойцам всех воинств, ломающих копья вокруг девяностых. И тем не менее можно уже сейчас, не дожидаясь затухания баталий, попытаться сформулировать те фундаментальные результаты этого периода, которые со временем, возможно, позволят ему обрести в политическом сознании России место, аналогичное в конце концов занятому в нем петровскими реформами или революцией начала XX в. (а во Франции — Революцией конца XVIII — начала XIX в., а в Великобритании — Славной революцией 1688 г., а в США — эпохой Founding Fathers, «отцов-основателей»... и ведь все это не просто мифы, все это действительно было). Порядок перечисления будет в высокой степени произволен, они не ранжированы по значимости. Их рекомендуется воспринимать не как иерархию, а как набор карт, так или иначе тасуемых в зависимости от того, кем и на какой вопрос ищется ответ. Но, кажется, ответы на большинство вопросов, касающихся нынешнего и будущего политического бытия России, следует искать здесь. Как говорилось в одном популярном в девяностые фильме, «истина где-то рядом»... Кроме того, обоснование нижеследующих тезисов будет выборочным, скудным, а иногда и вовсе отсутствовать — иначе объем текста превзошел бы всякие разумные пределы.

1. *Электоральная легитимность политической власти*, во всяком случае верховной. Такая власть приобретает исключительно на всенародных выборах. Очень многие вторичные (что не значит второстепенные) аспекты этой установки оказались и, не исключено, еще окажутся факультативными, ситуативными и эластичными. Она может распространяться только на высший государственный пост или охватывать также и позиции других уровней и ветвей (губернаторы, мэры, сенаторы — соответствующие вариации затрагивали их всех, но любопытно, что к выборам губернаторов все же пришлось вернуться). Она никак не предрешает проводимый верховной властью политический курс — левый или правый, либеральный или авторитарный, прозападный или антизападный, миролюбивый или агрессивный и т.п. Она допускает очень размашистые колебания качества института выборов по параметрам частоты, чистоты, честности, прозрачности, конкурентности и любым другим. Она не закрепляет жестко само именование верховной власти — почему, собственно, та непременно должна быть властью «президента»? Дело не в словах и не в букве закона (даже если закон — Конституция). Она, строго говоря, не исключает и продления полномочий конкретного носителя верховной власти на сколь угодно долгий срок, хоть пожизненно — при том условии, что эти полномочия некогда были получены им на выборах (прецеденты созданы, например, Нурсултаном Назарбаевым или Робертом Мугабе, причем не только в отношении самого снятия временных ограничений, но и в отношении его условия *sine qua non*). Однако такая установка с достаточной ясностью фиксирует, что исходным источником власти, как бы первоисточником всей политической машины является народ и ничто иное — что для России совсем не тривиально и не само собой разумеется.

Власть русских монархов имела своим источником сакральную санкцию и династический принцип; власть коммунистической партии — ее претензии на обладание абсолютной, то есть тоже сакральной, истиной марксизма-ленинизма и право сильного, подтвержденное победой в гражданской войне и прочих схватках (а источником власти конкретных лидеров партии были так или иначе трактуемые и модифицируемые внутривнутрипартийные механизмы, непосредственно к народу апелляции не предполагавшие). Оба режима оперировали категорией «народ» в своей риторике, декларациях и символической политике, но процессуально и процедурно власть в них производилась и воспроизводилась иными способами. В частности, выборы на советский манер были пусть и важным, но все же декоративным, важным исключительно в этом качестве элементом режима. Безусловно, первые шаги в сторону придания электоральным институтам какого-то не декоративного смысла и содержания были сделаны еще при Михаиле Горбачеве (тут и первые свободные выборы «народных депутатов», и введение поста президента СССР — впрочем, в это кресло Горбачев не сел, а пересел, и то не полностью, оставшись генсеком ЦК КПСС вплоть до 23 августа 1991 г.). В девяностые же, в эпоху Бориса Ельцина, выборы, хотя бы

только президентские, окончательно приобрели для российской политики конститутивный, конституирующий статус. Видимо, поворотным моментом тут стал 1996 г., в первые месяцы которого реальной (и даже более вероятной) альтернативой президентским выборам был переворот и фактическое установление режима личной диктатуры Ельцина. Поражение сторонников этого сценария, подробно (само собой, с неизбежной разногласицей в подробностях) описанное в воспоминаниях непосредственных участников и популярной документалистике<sup>9</sup>, привело к тому, что выборы, то есть выявляемый именно таким (с большей или меньшей достоверностью, но никаким иным) путем «глас народа», стали единственно возможным источником легитимности российской верховной власти. Любое отклонение от этой нормы, любой принципиальный отказ от института выборов как такового потребует (и будет означать) переучреждение политики. До тех пор обращаться с ним можно почти как угодно, но элиминировать его нельзя.

<sup>9</sup> Батурин и др. 2001: 545—580; Зыгарь 2021.

2. *Непартийное президентство.* Носитель верховной власти может позволить себе выражать симпатии и даже поддержку той или иной политической партии (одной или нескольким из многих). Но он не позволяет себе — ни в ходе выборов, ни, особенно, между выборами, в процессе рутинного правления и управления — выступать в роли *функционера*, даже единоличного лидера, какой бы то ни было партии (одной из многих), равно как и не позволяет другим приписывать ему подобный статус. Под партиями тут имеются в виду не просто политические организации и аппараты. Партии — во всяком случае, подлинные, а не симулятивные — суть нечто большее. «Обычное заблуждение вульгарного социологизма — представлять себе партию как организацию, выражающую какие-то интересы. Любая партия — часть не только политического мира в узком смысле слова, но и общества в целом. В этом смысле она первична по отношению к любому интересу, в отстаивании которого ее подозревают <...> В сущности, партия — одна из форм вертикальной организации общества и, в частности, один из каналов вертикальной мобильности»<sup>10</sup>. Так понимаемая партия есть сегмент политики, выработавший свое специфическое видение власти, ее целей и ценностей, ее техник и практик — и отстаивающий это видение не просто уличными беспорядками, кухонным бурчанием или матом в очередях, а, в полном соответствии с определением Кеннета Джанды, «путем замещения правительственных должностей своими признанными представителями»<sup>11</sup>. Этот сегмент может быть институционализирован сильнее или слабее, в нем могут быть предусмотрены или не предусмотрены членские взносы и партийные билеты — это не так важно. Главное — само его существование как активного актора. Однако в современной России отождествление носителя верховной власти (зовется ли он президентом или как-нибудь еще) с каким-либо из подобных сегментов исключено — он может и должен ассоциироваться с политикой как целым, но не с той или иной ее частью.

<sup>10</sup> Салмин 2009: 255—256. См. также Каспэ 2012: 84—97.

<sup>11</sup> Джанда 1997: 92.

Для демократий, избравших президентскую форму правления (то есть тех, где президент выступает не только как символическая фигура, олицетворяющая единство нации, но и как обладатель вполне существенных властных полномочий и прерогатив), такая ситуация не вполне типична. Безусловно, в момент вступления в высшую должность ее свежееиспеченный обладатель приносит присягу на верность нации в целом и клянется быть президентом всех американцев (французов, бразильцев и т.д.). Однако всем ясно, что это лишь ритуал, что президент был выдвинут одной из партий, победил в борьбе с представителями других партий и будет править, сообразуясь прежде всего с идеалами и интересами той партии, к которой принадлежит. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть хоть на президентство Дональда Трампа, хоть на президентство Барака Обамы — и то, и другое раскалывало нацию, а не консолидировало ее, вопреки тому что все приличествующие случаю слова о единстве Америки произносились. Исключения случаются; например, Шарль де Голль или Франклин Делано Рузвельт, действительно бывшие «национальными лидерами». Но они были ими лишь некоторое время, лишь в периоды действительного сплочения их стран перед лицом прямой и явной угрозы и/или сразу после ее преодоления. Когда нужда в такой мобилизации отпадает, президент снова становится партийным — а значит, уязвимым для конкурирующих партий.

Почему в России не так? Причины тому — в девяностых. Ведь Ельцин как президент не был выдвинутцем какой-либо партии. Наоборот, он, вышедший из партии еще тогда, когда не надо было уточнять, из какой именно, стал флагманом-ледоколом всего движения против партийной (она же советская) власти, а спешно, но малоуспешно создававшиеся на рубеже 1980—1990-х годов «демократические» партии (других поначалу и не было) следовали в его кильватере. Еще важнее, что уже после первых ельцинских побед и далее непрерывно в течение всех девяностых многие соратники Ельцина предлагали ему создать и возглавить настоящую «президентскую партию» — дескать, вам, Борис Николаевич, нужна надежная опора. А Ельцин эти предложения систематически и категорически отвергал<sup>12</sup>. Почему, собственно? Разве опора была не нужна?

Первое предположение элементарно: Ельцин люто, бешено ненавидел КПСС и одновременно полностью сознавал и предвидел, что, дай он отмашку на подобное партстроительство, именно КПСС (в лучшем случае — пародия на нее, в худшем... не пародия) и выйдет<sup>13</sup>, а потому всем своим существом отстранялся от этого варианта. Второе предположение тоньше: потому что Ельцин понимал (если не умом и образованием, то политическим чутьем), что партия, по буквальному значению латинского корня *pars*, только часть, всегда меньшая, чем целое. И что, соответственно, любое его вступление в жесткий, обязывающий альянс с какой-либо партией (даже если она будет его собственным детищем) заметно ограничит его способность репрезентировать политическое целое — возможность, которая оставалась главным ресурсом и резервом Ельцина и тогда, когда формальный президентский рейтинг, как в 1996

<sup>12</sup> Колтон 2013: 436—440.

<sup>13</sup> Как сознавал это и Черномырдин с его, может быть, апокрифическим, но все равно бессмертным «у нас какую партию ни создавай, все равно КПСС получается».



или 1999 г., падал до минимума. Зачем же связывать себе руки, если их можно не связывать?

На это можно возразить, что партий в таком понимании — как осознавших себя в качестве автономных акторов сегментов политики — в России попросту не было, ни в начале девяностых, ни в их конце. Да и в начале 20-х годов следующего века их тоже нет (за единственным и все равно сомнительным исключением в виде ядерного электората КПРФ). Действительно, аморфность, атомизированность, неструктурированность российского общества — неоспоримый социологический факт. Но ведь, с другой стороны, недоступность для российских партий (протопартий) самого ценного приза в политической игре — президентства, более, чем что-либо еще (в частности, более, чем любые ограничительные меры), тормозит их становление, не позволяя партиям функционировать в качестве полноценных механизмов вертикальной интеграции и каналов вертикальной мобильности. Какой смысл садиться в лифт, если до сколько-нибудь высоких этажей властной пирамиды он все равно не едет?

Отсюда следует, между прочим, и невозможность возникновения в России полноценной доминантной партии — по мексиканскому, японскому или индийскому образцу. И Институционально-революционная партия Мексики, и Либерально-демократическая партия Японии, и Индийский национальный конгресс были (и не вполне перестали быть) партиями власти в полной мере — именно они выдвигали, контролировали, а в случае нужды и меняли официальных носителей власти верховной, не наоборот. Ведь давно подмечено, что устоявшийся в России оборот «партия власти» двусмыслен и с большим основанием может читаться обратным образом — он указывает не на власть, принадлежащую партии, а на партию, принадлежащую власти. Попыток создания такой партии предпринималось несколько (с оговорками — «Выбор России», затем «Наш дом — Россия», «Единство», «Единая Россия»). Но и самый успешный из них (последний по времени) привел к возникновению не доминантной, а, по точному определению Юрия Коргунюка, «псевдоминантной»<sup>14</sup> партии. Ее внутренне проблематичный характер подтверждается даже названием: если «Единая Россия» — это партия, что значит часть, а не целое, то либо Россия, в силу самого существования каких-то еще партий, кроме этой, все-таки не едина, либо... это все-таки не партия.

На выходе из однопартийной системы такой сценарий вовсе не был предопределен — он сложился только в девяностые. Его нельзя списывать, как это иногда делают, на «неизжитую традицию», «патерналистское сознание» и т.п. — в истории и в политике действуют субъекты, акторы, а не безличные силы. Акторы девяностых этот сценарий и осуществили — другие возможности были, но не сработали, остались невостребованными. Теперь же и придание президентству партийного характера, и, скажем, с трудом представимый отказ от президентского правления в пользу парламентского (то есть безоговорочно партийного),

<sup>14</sup> Коргунюк 2007: 106—112.

и переход к каким-либо совсем экзотическим моделям разделения властей, и, в конце концов, упразднение разделения властей как такового означали бы переучреждение политики. И его бы потребовали.

3. *Капитализм как экономическая подоснова политического порядка.* Капитализм здесь понимается в самом примитивном, общем и обыденном смысле (впрочем, строго по Карлу Марксу) — как власть денег. Крах советской экономики (подготовленный, между прочим, и подпольным, полу- или совсем криминальным прорастанием в ее расщелинах денежных отношений) возымел и политические проекции. В начале девяностых деньги стали почти единодушно восприниматься и элитами, и массами как основная, если не единственная ценность, на фоне которой прочие ценности меркнут, как универсальное мерило всего и вся. В том числе — как универсальное мерило справедливости, работающее тогда, когда все прочие ее критерии дискредитированы. И тут — в условиях деградации социалистической идеологии, коллапса системы нерыночного товарообмена и «снабжения», обесценивания вкладов, пенсий, зарплат и самого рубля — была значительная доля правды. 1 января 1992 г., с началом гайдаровской экономической реформы, деньги обрели не только силу, но и этическое обеспечение — потому что выраженные в измеримой форме плоды человеческого труда и таланта вновь стали что-то значить. Само собой, эти плоды распределялись неравномерно и несправедливо, и очень многие ожидания («две „Волги“ за ваучер») оказались обмануты. Но все-таки приход «универсального эквивалента» на смену сетям «несунов», работающих на «неучтенных излишках» цеховиков и блата был шагом в сторону прозрачности и честности горизонтальных социальных связей. Именно на этический аспект «власти денег» указывает подытожившая девяностые и мгновенно ставшая народным достоянием формула драматурга Максима Курочкина «бабло побеждает зло».

Сообразные этой новой норме экономические и политические институты создавались одновременно, причем первые, пожалуй, с большим тщанием, чем вторые (в условиях, когда экономическая катастрофа казалась почти неминуемой, внимание политике уделялось по «остаточному принципу»). Соответственно, эти группы институтов оказались взаимосвязаны и взаимно комплементарны. Но дело не столько в институтах как таковых, сколько в порядке их функционирования. Отсюда, например, вера в то, что и в политике деньги всевластны, что любой политический активизм, любые политические инициативы кем-то «проплачены» (вера далеко не всегда ошибочная, но и не всегда обоснованная). Отсюда убежденность в том, что любое политическое затруднение можно «залить деньгами». Отсюда схемы обращения политических бюджетов, охватывающие весь спектр «серых» оттенков, располагающихся между «белым» и «черным» (российской особенностью здесь является не само их существование — такие схемы существуют повсеместно, а их безоговорочное доминирование). Отсюда манера делать

критерием политического решения категорию «цены вопроса» — например, мотивировать переносы и совмещения выборов (в частности, в рамках «единого дня голосования»), и даже сомнения в самой обязательности этого вообще-то *сверхценного* для демократии института необходимостью «экономии бюджетных средств».

Конечно, получившийся «капитализм» весьма далек от фантастического, никогда и нигде в мире не реализованного идеала «рыночной экономики», в начале девяностых так воодушевившего Россию (причем именно Россию, российский народ, а не только российскую власть). Этот «капитализм» уже успел побывать (и может побывать еще) очень разным — «диким», «олигархическим», «компрадорским», «государственно-олигархическим», «государственно-монополистическим»... да почти каким угодно. Но это всегда капитализм, а не какая-либо из форм социализма. И политический вектор направляется в сторону монетизации любых отношений государства и граждан, а не наоборот. Смена его на противоположный потребовала бы тотальной переделки всего комплекса государственных институтов — а поскольку она была бы невозможна без радикальной модификации ценностных оснований, деклараций и манифестаций, которыми государственные институты легитимируются, то потребовалось бы и переустройство политики в целом.

Есть тут и еще один аспект. В самом начале девяностых Россия, так и не совершив обещанный коммунистами «скачок из царства необходимости в царство свободы» (Фридрих Энгельс) и уплатив за безрассудную попытку такого скачка невообразимыми жертвами и страданиями, вернулась в «царство необходимости». Это значит, в свою очередь, что Россия оказалась вынуждена практически заново начинать тот «постматериальный сдвиг», тот путь от «ценностей выживания» к «ценностям самовыражения», по которому, как это доказательно продемонстрировано Рональдом Инглхартом и его соавторами<sup>15</sup>, в течение последнего примерно полувека движутся и развитие, и развивающиеся страны (а не движутся только *не развивающиеся*). «Постматериальный сдвиг» происходит не одновременно и никогда не захватывает всю политику разом; сперва его переживают отдельные группы и страны, которые можно называть хоть «прогрессивным студенчеством», хоть «офисным планктоном», хоть «креативным классом», хоть как-то еще. Их переход к новым ценностям, целям и средствам, в том числе ценностям и целям политическим и средствам действия политического, может быть на некоторое время приостановлен и даже обращен вспять. Но если и когда количество таких людей, а также уровень их организации достигнут в России некоего критического порога (заранее неизвестного), это опять-таки повлечет за собой переустройство российской политики — если не *de jure*, то *de facto*.

4. *Федерализм как принцип территориальной организации политического пространства.* Советский Союз был империей, и территориальная организация его пространства тоже была имперской —

<sup>15</sup> Инглхарт  
и Вельцель 2011;  
Инглхарт 2018.

<sup>16</sup> См. Филиппов 1992; Зубов 1992; Каппелер 2000; Каспэ 2001; Суни 2004; Мартин 2011; Зубок 2011.

дискуссии на эту тему велись, но завершились более или менее единодушным признанием общей правомерности такой квалификации геополитической природы СССР и теперь затрагивают лишь ее детали и нюансы<sup>16</sup>. Термин «империя» здесь понимается в строго нейтральном смысле — как указание на определенную политическую форму, интегрирующую большое пространство апелляцией к абсолютным, универсальным ценностям любого знака и строительством адекватных таким ценностям институтов, одновременно и легитимируемых имперскими ценностями, и обеспечивающих их поддержание, воспроизводство, трансляцию и экспансию. Империя может быть как «империей зла», так и «империей добра» — это вопрос выбора той или иной позиции в той или иной системе этических, а не аналитических координат. Для дальнейших размышлений важно другое: то, во-первых, что главной характеристикой имперского пространства является его неоднородность, гетерогенность и асимметрия — империя не столько унифицирует культурное, этническое, религиозное и языковое политическое разнообразие, сколько ранжирует и дифференцирует его по критерию лояльности и годности к участию в исполнении имперской миссии. И то, во-вторых, что ядро советской империи, также известное как РСФСР, представляло собой отнюдь не твердый монолит, не «единый и неделимый» атом, а фрактальное подобие империи в целом. И в нем существовала аналогичная и гомологичная иерархия областей, краев, автономных республик и опять-таки областей, городов республиканского подчинения, закрытых административно-территориальных образований...

Обвал советской империи на рубеже 1980—1990-х годов состоял в стремительном отпадении ее слоев, оболочек — от внешних к внутренним, от периферии к центру. Патронизируемые Кремлем легальные и подпольные организации, с переменным успехом проецировавшие волю и влияние компартии по всему миру; государства-клиенты, придерживавшиеся так называемых «социалистического выбора» и «социалистической ориентации»; соседствующие государства-сателлиты («социалистический лагерь»); союзные республики, непосредственно входившие в состав СССР<sup>17</sup>, — все они отваливались даже не последовательно, а практически одновременно. И решительно ниоткуда не следует, что этот процесс непременно должен был остановиться на границах РСФСР (по умолчанию ставших границами России). Сценарии дальнейшей дезинтеграции и обсуждались, и имели своих достаточно активных сторонников (отнюдь не только в Чечне, где дело зашло дальше всего), и были вполне вероятны. Однако распад России не произошел, в результате чего картина крушения советской империи получилась весьма отличающейся от классической. Ведь, как правило, ядро бывшей империи если и сохраняется как самостоятельная полития (что случается не всегда), оказывается в разы, иногда на порядки меньше ее исходного тела. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить территории Османской империи — и Турции, Австро-Венгрии — и Австрии, Британской, Французской, Испанской, Португальской и Японской

<sup>17</sup> Подробнее см. Салмин 2010в.

империй — и собственно Британии, Франции, Испании, Португалии и Японии... А тут вышло не так. Имперское пространство в 1991 г. не столько распалось, сколько, по удачному выражению Эмиля Паина, «обкрошилось по краям» — площадь Российской Федерации составила 76,3% от площади СССР (с Крымом — 76,4%). Потери существенные, но не катастрофические. И это было достигнуто в девяностые и благодаря девяностым.

Потому что в девяностые российская имперская структура пережила трудное, болезненное, но в целом успешное преобразование в структуру федеративную — а не конфедеративную (которая, скорее всего, стала бы лишь промежуточной остановкой на пути к дальнейшей диссипации) и не унитарную (такие предложения и программы тоже были, но попытки их реализации почти наверняка лишь стимулировали бы тот же диссипативный тренд). Вообще-то это и было самым логичным решением — ведь имперская и федеративная политические формы имеют между собой много общего, не только структурно, но и исторически<sup>18</sup>. Но такое решение было принято и осуществлено до и независимо от любых теоретических изысканий — не теоретиками, а практиками. Было не до них — ни до теорий, ни до теоретиков. Видимо, определяющую роль тут сыграли знаменитые слова Ельцина, произнесенные им в Казани 6 августа 1990 г. и спустя неделю повторенные в Уфе: «Берите суверенитета столько, сколько сможете унести» и «Вы возьмите ту долю власти, которую сами сможете проглотить» (а в первом случае последовало еще и пояснение: «Но вы находитесь в центре России — и об этом нужно подумать»). Сложившийся вокруг этих слов негативный миф диктует ту их интерпретацию, что тем самым был выдан *carte blanche* на разгул сепаратизма, развал России и т.д., — правда, нельзя понять ни того, зачем этот развал был нужен Ельцину, боровшемуся как раз за власть над Россией и искавшему союзников, а не соперников, ни того, почему этот развал даже при наличии *carte blanche* не состоялся. Позднее, в 1995 г., Ельцин запоздало и безнадежно пытался объяснить, что, собственно, он имел тогда в виду: «Я сказал в свое время, берите суверенитета столько, сколько можете. Но вот в слове „можете“ как раз и заложен очень глубокий смысл. Сколько можете — не берите больше, чем можете, а то надорветесь, как Чечня»<sup>19</sup>.

Перебороть сложившуюся инерцию восприятия и впрямь не самых удачных формулировок тогда не удалось. Но хотя бы теперь нужно отдать должное тому, что за этими формулировками стояло — и выстояло. Никто, кроме Чечни, так и не надорвался. Россия не распалась — и именно потому, что конвертировала свое имперское прошлое в федеративное настоящее. Как и российский капитализм, российский федерализм успел побывать (и еще может побывать) очень разным — в диапазоне от «засилья региональных баронов» до «укрепления властной вертикали». Это колебательное движение, причем и второй тренд, достигнув некоторого пика, тоже стал ослабевать (тут и возврат в 2012 г. к прямым выборам глав почти всех регионов, и принятые в 2020 г.

<sup>18</sup> См. Каспэ 2005.

<sup>19</sup> Цит. по: Колтон 2013: 361.

поправки в Конституцию, по букве своей — пусть только по букве — предусматривающие некоторое усиление Совета Федерации и Государственного Совета). Идеального федерализма, строго говоря, нигде и нет — есть американский федерализм, который справедливо принято считать наиболее близким к его чистому типу, а есть австрийский, индийский, бразильский, мексиканский или нигерийский, весьма далеко от идеального типа отстоящие. Есть, кстати, и конституционно унитарные страны, в которых тенденции регионализации, автономизации, субсидиарности и т.д. зашли тем не менее настолько далеко, что по параметру объема реальных прав, прерогатив и полномочий территориальных единиц страны эти превосходят иные федерации, — таковы, например, Италия, Испания и Великобритания. Российский федерализм — тоже достаточно широкая рамка. Но та Россия, которая возникла в девяностые и существует до сих пор, может быть только федерацией, а не унитарным государством — и федерацией, в силу своего имперского бэкграунда, только асимметричной. Попытки перевести территориально-политическую организацию российского пространства в какой-то принципиально иной формат, конечно, еще могут быть предприняты. Но они либо потребуют переучреждения российской политики, либо, с гораздо большей вероятностью, вновь запустят с огромным трудом погашенную в девяностые энергию ее распада.

5. *Свобода ассоциаций.* Метафора, противопоставляющая «вертикальные» механизмы и режимы организации социальных взаимодействий «горизонтальным», при всей своей примитивности может быть ограниченно полезна (прежде всего в силу ее интуитивной понятности). Советский строй действительно был «вертикальным» — власть компартии, также организованной иерархически, претендовала на то, чтобы пронизать сверху донизу все сегменты и элементы политики до самого что ни на есть микроуровня, вплоть до семьи. Конечно, это всегда была только претензия и амбиция: «Даже Сталин не мог контролировать адюльтер, мастурбацию, курение, пьянство и подавлять мелкие воровские шайки»<sup>20</sup>. Однако и их достаточно, чтобы признать тоталитарным и общество, не достигшее полной, завершенной тотальности (а ее, строго говоря, не достигло ни одно общество). Безусловно, «горизонтальные» связи и сети особенно развились в Советском Союзе в последние его десятилетия, в годы «застоя»; но и тогда, во времена «вегетарианские», они все равно оставались за гранью (в лучшем случае — на самой грани) официально дозволенного. Блат, «фарца», книжные маклаки и квартирные маклеры, бригады «шабашников», КСП, молодые «неформалы» всех мастей, диссидентское движение, гораздо более широкая, чем само это движение, совокупность читателей и распространителей самиздата, околицерковные круги и кружки и т.д. — со всем этим конгломератом «горизонтальных» феноменов политическая власть находилась в состоянии войны. В основном «холодной», лишь эпизодически переходившей в «горячую» фазу; но все-таки

<sup>20</sup> *Andreski 2013: 44.*

войны, удерживавшей их где-то на периферии общественной жизни или выталкивавшей еще дальше, в криминальную зону (и с криминальным миром многие из таких сетей действительно пересекались и взаимодействовали). В состав советской политики самовозникающие и самодеятельные ассоциации не входили, действуя только в трещинах ветшающего здания, прогрызая в нем все новые червоточины. Входили же в ее состав «приводные ремни» — направляемый и управляемый партийной властью набор (якобы) «общественных организаций», от пионерии, комсомола и профсоюзов до потребкооперации, всевозможных Комитетов защиты мира, ДОСААФов, ВДОАМов и ОСВОДов. Некоторые из них действительно пользовались крупными автономиями (например, Академия наук или творческие союзы) или переплетались с несимулятивными сетями (например, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры), но подавляющее большинство официозных «общественных организаций» к концу советской эпохи превратилось в пустые оболочки, лишенные всякого живого содержания.

В девяностые же, в условиях обвальной деградации всех прежних «вертикальных» структур и иерархий и крайне низкой эффективности новых, выстраивавшихся неумело и наспех, «горизонтальные» ассоциации стали чуть ли не единственным механизмом социальной организации и социального действия. Именно они обеспечили выживание страны, в том числе физическое выживание ее населения (ближайшей исторической аналогией тут является Смутное время начала XVII в.). Именно и только они до некоторой степени компенсировали свойственный России крайне низкий, сравнительно с большинством европейских стран, уровень межличностного доверия, многократно зафиксированный количественной социологией и многократно интерпретированный социологией качественной как, может быть, главное препятствие к возникновению в России здорового общества, налаженного хозяйства и эффективного государства. Обитатели России в массе своей не доверяют ни формальным институтам, ни незнакомым людям; но они, по крайней мере, доверяют родным, друзьям, знакомым родных и друзьям знакомых. И к тому, и к другому их приучил еще советский строй. После же того, как он весьма быстро «слинял» (острое словцо Василия Розанова, найденное им в 1917 г., вполне применимо и к событиям конца перестройки), напоследок обнулив все свои обязательства перед населением (достаточно вспомнить конфискационную денежную реформу начала 1991 г.), наступили девяностые — и стали мощным подкреплением обоих аспектов этой установки, и негативного, и позитивного. С тех пор прежде всего в этих текучих, с трудом уловимых аналитическим взглядом (зато очевидных для взгляда бытового, обывательского, прагматического) «горизонтальных» сетях и ассоциациях производится почти любая прибавочная стоимость, генерируется, накапливается и инвестируется почти любой капитал — хоть материальный, хоть символический, хоть человеческий.

Такое положение дел часто подвергается вполне обоснованной критике. «Горизонтальные» сети и ассоциации действуют в основном «в тени», вне публичной сферы (даже тогда, когда обладают, как партии, профессиональные и предпринимательские союзы, общественные движения, НКО и т.д., некоторым «юридическим лицом»); они недоступны внешнему контролю, ни общественному, ни государственному; они представляют собой идеальную питательную среду для коррупции; они смыкаются с криминалом; они блокируют становление и подрывают деятельность формальных институтов, в том числе институтов правового государства, да и власть закона как таковую. Все это более или менее верно. Однако не надо недооценивать ни позитивных эффектов, производимых этими ассоциациями, ни их устойчивости к внешним воздействиям. В рутинном режиме функционирования они обеспечивают нормальную жизнедеятельность и элит, и, что еще более важно, «широких народных масс». В режиме экстренной мобилизации они способны сыграть поистине спасительную роль, иногда политическую. Так было, например, в 1996 г., когда после полного организационного провала «официального», бюрократического штаба избирательной кампании Ельцина только предпринятая альтернативным штабом (Аналитической группой) мобилизация деловых, интеллектуальных, медийных и артистических кругов позволила не допустить ни электорального коммунистического реванша, ни антиконституционного переворота, лоббировавшегося одной из самых влиятельных групп сторонников президента. Нечто подобное происходило и в 1999 г., когда единственным способом экстренно соорудить блок «Единство» как электоральную альтернативу антиельцинским силам (и коммунистическим, и, главное, некоммунистическим — блоку «Отечество — Вся Россия») оказалась опять же мобилизация разномастных «горизонтальных» альянсов и клиентел, другими политическими игроками не замеченных и не востребованных. Да и до сих пор за фасадом «вертикали власти» продолжают скрываться (и даже не особенно скрываться) те же самовозникшие «горизонтальные» сети и ассоциации, членство в которых гораздо важнее формальных статусов их участников и взаимодействие которых (в режиме, по известному острому словцу, «террариума единомышленников») в гораздо большей степени определяет российскую политическую динамику, чем публичные решения, события и процессы. И жесткое подавление этих «горизонтальных» структур (для которого потребовались бы не просто авторитарные, но тоталитарные механизмы), и их плавное вытеснение в легальную плоскость (путь, по которому уже десятилетиями идут такие страны Южной Европы, как Италия, Испания или Греция, причем с переменным и ограниченным успехом) до такой степени переменяли бы порядок функционирования российской политики, что, по сути, были бы равносильны ее переучреждению.

6. *Свобода вероисповедания.* В этом отношении контрастность девяностых по отношению и к советской, и к досоветской эпохам, пожалуй,



наиболее сильна. В то же время нечасто осознается именно политическое значение этой контрастности — оно все еще нуждается в специальной экспликации и аргументации. Поэтому данный раздел будет более пространным, чем остальные, — вынужденно, по необходимости.

Природа любой политики не определена до тех пор, пока не определены ее отношения с религией и религиозными союзами. Это так с точки зрения современной политической теории — просто потому, что никакой предзаданной четкой границы между политическим и религиозным (шире — сакральным) не существует, а их ограниченная автономизация и эмансипация друг от друга на Западе представляют собой скорее исключение из правила, к тому же, возможно, временное<sup>21</sup>. И это так исторически. Все современные развитые, процветающие государства в процессе своего становления сталкивались с этой проблемой — и решали ее. Решали очень различными, всегда уникальными путями и способами. Но вовсе обойтись без такого решения ни одна страна, находящаяся в поисках устойчивой политической формы (что и значит — учреждающая себя), не может.

Решение, избранное Россией в девяностые, на фоне всей ее истории выглядит совершенно нетривиально. В досоветскую эпоху вся российская политическая конструкция, несмотря на неуклонно расширявшиеся практики веротерпимости, зиждилась на сакральной легитимации, теснейшим образом связывавшей монархическое и церковное начала, причем даже и в краткий (1905—1917 гг.) период дополнения монархии парламентаризмом. Формула XIV в. «невозможно христианам иметь Церковь и не иметь Царя»<sup>22</sup> и отнесенные к 1918 г. слова булгаковского персонажа «на Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная!» по смыслу идентичны. Это один и тот же ценностный паттерн и политический императив.

Коммунистический режим был, напротив, антицерковным, антирелигиозным и прямо безбожным (другое дело, что он подменял обычные формы религии своей собственной идеологической сакральностью<sup>23</sup>). Сущностно он оставался таковым до конца — в том числе и тогда, когда людоедские времена превратились в «вегетарианские», а гонения и репрессии сменились геттоизацией и маргинализацией религии и религиозных институций.

Крах коммунизма привел к тому, что религия и религиозные объединения (прежде всего Русская Православная Церковь, но и все остальные исповедания, как традиционные, так и не традиционные для России) вырвались из гетто на оперативный простор и немедленно начали заполнять освободившееся социальное и культурное пространство. Здесь не следует обсуждать качество случившегося «религиозного возрождения» (иногда называемого «вторым Крещением Руси») и той религиозности, то есть суммы соответствующих верований и практик, которая в его результате возникла. Его вообще неразумно и неэтично обсуждать извне религиозного контекста, это осмысленно делать только изнутри его (чтобы избежать резонного вопроса: а судьи кто?). Социологическим же

<sup>21</sup> См. *Milbank 1990; Vries and Sullivan (eds.) 2006; Хабермас и Ратцингер (Бенедикт XVI) 2006; Салмин 2009; Каспэ 2012; Узланер 2019.*

<sup>22</sup> *Антоний IV 1880: 274. Подробнее см. Дьяконов 1889: 23—26.*

<sup>23</sup> См. *Смолкин 2021.*

фактом является то, что уже в девяностые большинство граждан России стало идентифицировать себя как в той или иной степени верующих, что бы это самоопределение для них ни означало.

В то же время новое российское государство от религии дистанцировалось, так и не попробовав опереться на какие-то сакральные основания (попытка Александра Солженицына закрепить за событиями августа 1991 г. имя Преображенской революции — основываясь на том факте, что на 19 августа приходится церковный праздник Преображения Господня — принесла еще меньший результат, чем все остальные его советы и наставления). Статья 14 Конституции 1993 г. гласит: «1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». Статья 28 утверждает: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». То, что по поводу светскости государства, в отличие от многих других параметров конституционного дизайна, не велось вообще никаких дискуссий, ясно показывает, что такое решение было консенсуальным и считалось безальтернативным (несмотря на свою отмеченную выше беспрецедентность). Та же правовая позиция была подтверждена и в 1997 г., законом «О свободе совести и о религиозных объединениях». Она остается в силе до сих пор, и имплантированная в 2020 г. в Конституцию размытая формула, упоминающая «предков, передавших нам идеалы и веру в Бога» (статья 67.1), тут ничего не меняет — тем более что вера в ней трактуется не как современная ценность, а исключительно как элемент традиции. Мало ли что предки «передают» потомкам; вопрос в том, как потомки обращаются с переданным...

Конечно, декларации — одно, а реальность — другое. Объявить себя светским государством еще не значит выработать внятное понимание того, что, собственно, эта установка означает в конкретном историческом, культурном и политическом контексте. В разные годы, по разным причинам и с очень разными последствиями светскими провозглашали себя государства демократические и недемократические, европейские и неевропейские, с моно- и поликонфессиональным населением. Никакого общепринятого стандарта светскости не существует — ни юридического, ни политического. Каждое светское государство наполняет эту рамку своим конкретным содержанием (достаточно сказать, что европейская модель предполагает прежде всего оттеснение религий и религиозных групп от политической сферы и защиту государства от их влияния, а американская, наоборот, обороняет религии и религиозные группы от любого политического давления со стороны государства<sup>24</sup>). Неопределенность же понятия светскости является мощным конфликтогенным фактором, и именно так обстоят дела в современной

<sup>24</sup> Подробнее см. Узланер 2019: 156—159.

России — его трактовки колеблются в очень широком диапазоне, от апелляции к опыту французского республиканизма до ностальгии по безбожному советскому периоду. Отсюда множество частных напряжений между религиозным и политическим, церковным и государственным, польхающих время от времени то тут, то там. А под ними — напряжение фундаментальное, затрагивающее самые основания учрежденной, но не до конца отстроенной политики<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> Подробнее см. Салмин 2010с, 2010d; Каспэ 2018.

<sup>26</sup> По совершенно понятным причинам здесь и далее говорится прежде всего о РПЦ, но, с необходимыми поправками, то же относится и к исламским общинам и объединениям. Численность приверженцев других исповеданий (альтернативного по отношению к РПЦ православия, буддизма, иудаизма, католицизма) слишком мала для того, чтобы принимать их в политический расчет. Впрочем, количество российских протестантов, по косвенным и неточным данным, неуклонно растет и уже достигло настолько значительных величин, что их, возможно, вскорости придется в таком расчете учитывать.

<sup>27</sup> Подробнее см. Каспэ 2019.

И тем не менее нечто существенное состоялось. В результате принятых в девяностые спонтанных решений, о долгосрочных последствиях которых почти никто не задумывался, рядом с российской политией утвердилось другое, отличное от нее сообщество (сообщества<sup>26</sup>) — экклезия, Церковь. И собственные характеристики этого сообщества, и его отношения с политией и политической властью весьма специфичны.

Церковь в высокой — может быть, в высочайшей сравнительно со всеми другими российскими группами и сообществами — степени автономна от государства. Не столько в плане повседневных взаимодействий (тут бывает всякое), сколько в том смысле, что вообще не в государстве находятся источники ее легитимности и легальности, не от государства эти качества исходят. Сказанное относится и к Церкви как таковой, как «церковной полноте» и «общине верных», и к ее первым лицам. Любопытно и многозначительно, что в отношении патриархов Алексия II и Кирилла (избранных в 1990 и 2008 гг. соответственно) ни разу не задавался тот вопрос, который преследует (которым преследуют) всех российских президентов начиная с 1996 г., — при каких, собственно, обстоятельствах они стали президентами и насколько эти обстоятельства соответствуют стандартам чистоты и честности? К тому же легитимность патриарха, в отличие от президентской, является пожизненной.

Церковь в географическом отношении не совпадает с российской политией — она значительно больше. Почти половина приходов Московского патриархата находится за пределами Российской Федерации, что создает ей дополнительные гарантии автономии<sup>27</sup>. Нечего и говорить о еще более радикальной, принципиальной экстерриториальности исламской уммы.

Церковь на протяжении всего периода постсоветских социологических наблюдений располагает колоссальным уровнем общественного доверия, неизменно занимая место в верхних строчках любых рейтингов претендующих на него институтов. При этом уровень доверия к подавляющему большинству институтов политических и государственных драматически, в разы ниже.

Церковь считает себя вправе самостоятельно определять свое отношение к российскому государству и его различным историческим формам, причем независимо от того, какова позиция самого государства (и есть ли она вообще). Тут надо иметь в виду не только разработанные в девяностые и принятые в 2000 г. «Основы социальной концепции РПЦ», выдержанные в примирительно-снисходительном духе:

«В современном мире государство обычно является светским и не связывает себя какими-либо религиозными обязательствами... Форма и методы правления во многом обусловливаются духовным и нравственным состоянием общества. Зная это, Церковь принимает соответствующий выбор людей или по крайней мере не противится ему... Современные демократии... не ищут божественной санкции власти. Они представляют из себя форму власти в секулярном обществе... Изменение властной формы на более религиозно укорененную без одухотворения самого общества неизбежно вырождается в ложь и лицемерие, обессилит эту форму и обесценит ее в глазах людей. Однако нельзя вовсе исключить возможность такого духовного возрождения общества, когда религиозно более высокая форма государственного устройства станет естественной...»<sup>28</sup> Тут надо иметь в виду и определение Поместного Собора РПЦ, принятое 2 декабря 1917 г., после уже не только падения монархии, но и октябрьского переворота — то есть безотносительно политических пертурбаций: «Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, занимает в Российском Государстве первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей Государство Российское... Постановления и узаконения, издаваемые для себя Православною Церковию в установленном ею порядке, со времени обнародования их церковною властью, равно и акты церковного управления и суда признаются Государством имеющими юридическую силу и значение, поскольку ими не нарушаются государственные законы... Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковною властью»<sup>29</sup>. Между прочим, прямая отсылка к этому никем не отмененному, а следовательно, с правовой точки зрения, действующему документу<sup>30</sup> содержится и в «Основах социальной концепции».

<sup>28</sup> *Основы 2008: III. 3.*

<sup>29</sup> *Определение 1918: 6.*

<sup>30</sup> *Первым и чуть ли не единственным в светской политической науке России на этот факт обратил внимание Алексей Салмин в уже упомянутой статье (Салмин 2010с), оригинальная публикация которой состоялась в 1998 г.*

Церковь в России, конечно, не стала, несмотря на все названные обстоятельства, полноценным, активным политическим актором, не конвертировала свой огромный социальный капитал в политический. Во-первых, потому, что это ей и не свойственно, во-вторых, по причине ее крайне низкой внутренней консолидированности — «вертикали власти» в Церкви еще меньше, чем в государстве, а страх внутренних разделений и расколов, неизбежных в случае политизации, перебарывает любые подобные устремления. Тем не менее такая политизация совсем не исключена и даже вероятна. Она может быть инициирована как с религиозной, так и с политической стороны. Сама по себе она не обязательно приведет к переучреждению российской политики — она вполне может ограничиться прояснением того, что именно в России называют светским государством, и рано или поздно это придется прояснить. Но без переучреждения ни второй опыт государственного атеизма (совсем непредставимый), ни обращение религиозных организаций в служебный

отросток государства с неизбежным приданием православию эксклюзивно привилегированного статуса (почти столь же непредставимое; не случайно в официальном дискурсе РПЦ синодальный период ее истории называют не иначе как «государственным пленом»), ни установление симфонической православной монархии (та самая «религиозно более высокая форма государственного устройства», ностальгически упомянутая в «Основах социальной концепции») не имеют шансов на реализацию. Эти границы коридора возможностей были заданы в девяностые.

7. *Открытость границ.* Падение коммунизма не случайно описывалось еще и как падение «железного занавеса» (как не случайна была и красноречивая официозная формула «страны социалистического лагерь»). Требование свободы выезда из страны (и дополняющей ее, но поначалу менее актуальной свободы возвращения) было одним из главных пунктов всех освободительных программ рубежа 1980—1990-х годов. Границы СССР начали открываться для его граждан еще в последние годы перестройки, сперва избирательно и дозированно, но с неуклонным нарастанием. Однако общепринятой нормой — не только юридически гарантированным правом, но и массовой социальной практикой — возможность беспрепятственно покинуть страну (хоть на время, хоть навсегда) стала именно в девяностые, с отменой 1 января 1993 г. выездных виз. Конечно, этой нормой воспользовались не все и даже не большинство россиян (ожидать такого и не было никаких разумных оснований). Статистические сведения по выездам за границу и количеству выданных загранпаспортов применительно к девяностым отрывочны и не всегда достоверны (а по советскому периоду просто отсутствуют, что исключает какие-либо сопоставления). Однако общая картина примерно ясна: после взрывного роста числа желающих испытать фантастическую для советского времени возможность (в 1993 г. только в страны так называемого «дальнего зарубежья» один или более раз выехали почти 8,5 млн человек — что, впрочем, все равно составляет лишь 5,4% от тогдашней численности населения<sup>31</sup>) оно постепенно стабилизировалось на уровне несколько менее 30% граждан России (таково нынешнее число владельцев действительных загранпаспортов). Видимо, практически все, кто в подобной опции нуждался, ею воспользовались. Эта группа, скорее всего, почти совпадает с той, которая в политической социологии описывается понятием «активное меньшинство» — что далеко не синонимично «элитам», поскольку в целом ряде регионов, прежде всего в Москве, крупных городах и приграничных территориях (Калининградская область, Северо-Запад, почти весь Дальний Восток), обладание загранпаспортом и регулярное его использование именно в девяностые превратились в неотъемлемый атрибут повседневной жизни гораздо более широких слоев.

Произошедшая перемена повлекла за собой множество немаловажных и неоднозначных политических эффектов. Вот лишь некоторые из них.

<sup>31</sup> Я благодарю Игоря Орлова (Высшая школа экономики), поделившегося со мной этими данными.

Массовая — исчисляемая даже не сотнями тысяч, а миллионами — безвозвратная эмиграция (далеко не всегда этнически окрашенная — еврейская, немецкая и т.п.). С одной стороны, она привела к вымыванию и снижению удельного веса того самого «активного меньшинства» — причем активного не только интеллектуально (в той своей части, которая состояла в «утечке мозгов»), но и политически. С другой стороны, она сформировала за пределами России новую огромную русскоговорящую диаспору, оказывающую серьезное влияние на восприятие России в мире (особую значимость это обстоятельство приобрело позже, в эпоху социальных сетей и медиа). С третьей стороны, все попытки развития и проецирования российской «мягкой силы» (не обязательно, кстати, обреченные сводиться к строительству очередной версии «Русского мира») также опираются именно на этот ресурс и без него немыслимы.

Сохранение возможности почти беспрепятственного перемещения между почти всеми бывшими советскими республиками (кроме стран Балтии, установивших визовый режим въезда для граждан бывшего СССР в том же 1993 г.). То, что с распадом Советского Союза не были жестко разорваны родственные, дружеские и вообще межличностные связи, с одной стороны, смягчило травму распада империи, которая в противном случае для миллионов людей могла бы стать вовсе непереносимой. С другой стороны, тем самым создавалось и поддерживалось то представление, что империя по-настоящему и не распалась, а нынешнее положение дел является временным, противоестественным и, возможно, обратимым (какие политические выводы отсюда делались и продолжают делаться, вполне очевидно). С третьей стороны, исходящие из большинства стран экс-СССР мощные потоки трудовой миграции в Россию немало способствовали поддержанию экономической (а значит, и политической) стабильности и в России, и в самих этих странах. С четвертой стороны, те же потоки подогревали и провоцировали в России бытовую, стихийную ксенофобию — так и не ставшую генеральным трендом, но тем не менее тлевшую в фоновом режиме и периодически выходящую в политическую плоскость. Все эти тенденции заметны и теперь, но корни их в девяностых.

Аналогичным образом — через поддержание минимально необходимых для элементарного выживания уровней экономической активности, доходов и потребления — компенсировала массовую фрустрацию и тем самым сработала на политическую стабильность трансграничная «челночная» торговля и порожденная ею гигантская индустрия логистики и полустихийных рынков. Памятник «челноку», поставленный в Благовещенске в 2008 г. и до сих пор весьма чтимый горожанами, наглядно свидетельствует, что остаточные последствия того феномена сохраняются и сейчас, несмотря на наступление времен более легальных, цивилизованных и централизованных товарообменов. Вне зависимости от того, как сложились дальнейшие жизненные траектории огромных масс людей, научившихся в девяностые действовать

поверх государственных границ и безо всякого расчета на помощь государства, приобретенный тогда опыт продолжает определять структуру их ориентаций и реакций — в том числе политических.

Проницаемость границ не только для людей, но и для финансовых потоков также имела политические последствия. Не одни лишь так называемые «олигархи», но и гораздо более широкий круг капиталистов эпохи «первоначального накопления», выводя за рубеж и сохраняя там полученные ими разными, не всегда честными (но и не всегда нечестными) путями средства, тем самым становились в высокой степени независимыми от российского государства и его функционеров. А значит, приобретали возможность выступать в качестве автономных политических акторов, каковой возможностью не раз пользовались.

Уже по завершении девяностых обозначился и другой эффект открытости границ, коснувшийся не исключительно «олигархов» и капиталистов более скромных разрядов, но и просто политических активистов, по тем или иным причинам вступающих в конфликт с политическим режимом. То, что выход из российских политических игр через эмиграцию всегда открыт (более того, иногда к нему прямо подталкивают), снижает уровень репрессивности режима, позволяя ему во многих случаях обходиться без крайних насильственных мер и поддерживать политическую стабильность, как бы используя предохранительный клапан для снижения давления в кипящем котле.

Но это все частности. Значение некоторых из них в десятилетия, последовавшие за девяностыми, заметно снизилось, и упоминаются они здесь потому, что это снижение вполне может оказаться временным и обратимым. Главный же результат открытия границ носит более фундаментальный и даже экзистенциальный характер.

Советский проект — и возникший в процессе его осуществления аппарат власти, и советское общество, советская культура (в самом широком, социологическом смысле слова), «советский человек», то есть, обобщенно говоря, советская полития, — был изоляционистским по самой своей сути. Да, он задумывался и начинался как «Мировая республика Советов», глобальная и интернациональная; да, в XX в. и особенно во второй его половине СССР в качестве одной из двух сверхдержав активно действовал в планетарном масштабе, фактически продвигая свою версию глобализации. Но сама советская полития, сам образ жизни и мысли в ней были обложены многочисленными рогатками и преградами, как формальными, так и глубоко интериоризованными.

«Определяя эту культуру как изоляционистскую, я имею в виду не только и не столько особенности внешней политики, стоявшие за метафорой „железного занавеса“, сколько хаотичное множество внутренних барьеров, заслонов и блоков, составлявших неотъемлемую часть повседневной жизни в позднем СССР, — патологическое разрастание нормативных границ, которые непрерывно проводились, стирались и проводились вновь <...> В конечном счете изоляционизм — это блокировка контактов с реальностью. Утратившая энтузиастическую

лихорадочную остроту, переведенная в хроническую форму. Подтвержденная социально на протяжении нескольких поколений. Утвержденная в качестве базового навыка социальной адаптации, базового инструмента выживания»<sup>32</sup>. «Речь, разумеется, об изоляции в широком смысле — в смысле затрудненного доступа к самым разным социальным областям, в смысле жесткости границ не только внешних, государственных, но и внутренних, нормативных»<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> *Каспэ 2018*: 7—8.

<sup>33</sup> *Там же*: 272.

Советский обыватель знал — и головным, и «спинным мозгом чувствовал», — что он живет в единственно возможном для него, самой почвой и судьбой отведенном ему мире. Другие жизненные миры<sup>34</sup> (прежде всего «заграница», но также и альтернативные способы существования в советской политике — богемные, контркультурные, диссидентские, криминальные, этнически или религиозно окрашенные) могли быть для него источником угрозы и/или соблазна, но «нормальной» была лишь советская реальность. В зеркальном, «антисоветском» варианте та же реальность предстала, наоборот, как царство тотального абсурда<sup>35</sup>, а качество «нормальности» приписывалось чаще всего воображаемому и идеализируемому Западу (реже — воображаемой и идеализируемой досоветской России). Столь же обобщающим и некритическим образом.

<sup>34</sup> *См. Шюц 2008*.

<sup>35</sup> *Литературными средствами это состояние общества, культуры и психики великолепно передано в первом (1979—1983) романе Владимира Сорокина «Норма».*

Потом стены рухнули. Потом, сначала в перестроечном Советском Союзе, а затем и в России девяностых, стало ясно, что здешний жизненный уклад, в том числе политический, не является непреложно предзаданным. Что он неустойчив и изменчив. И что, в частности, он может модифицироваться через заимствования чужого, чуждого опыта — с его неизбежным приспособлением к российской специфике (ср. хотя бы цунами «евроремонтов», прокатившихся по стране именно в девяностые и имевших довольно мало общего с аутентичными европейскими практиками интерьерного дизайна).

С тех пор российская политика и ее обитатели живут с этим знанием (опять-таки и рациональным, и подсознательным) — что российский политический порядок зыбок и пластичен, что на него влияют разнообразные и не только замороженные факторы, что он способен к развитию и в то же время уязвим. Конечно, негативные аспекты этой ситуации (в некоторых отношениях приближавшейся в те же девяностые к состоянию аномии, что и позволило приклеить к ним эпитет «лихие») порождали и продолжают порождать пропитанные ностальгией и рессентиментом новые изоляционистские проекты. Но если хоть один из вариантов строительства «Крепости Россия» осуществится, это будет означать конец той политики, которая была учреждена в девяностых. Просто потому, что в крепости обитает не гражданская община, а гарнизон.

Безусловно, ряд может быть продолжен. Есть и иные особенности российской политики, сформировавшиеся именно в девяностые и близкие к статусу конститутивных. Так, можно (и нужно)



думать о важности сохранения в России, в отличие от большинства других постсоветских стран, сетевой жизнеспособности органов государственности и их кадрового состава, переживших в «распределенном» режиме невидимости период институциональной деградации и затем возродившихся, как Феникс (чуть не написалось «Феликс») из пепла. О специфичном, опять же отличающем Россию от других постсоветских (и не только) государств, отношении к политическому насилию, в частности уличному, — и то, что оно категорически отвергается и вообще не практикуется оппозиционными движениями, и то, что даже призрачный намек на такую возможность жестко, нередко избыточно жестко пресекается полицией, довольно очевидным образом отсылает к трагическому опыту 1993 г. (от майских потасовок до октябрьского кровопролития). О полной политической индифферентности вооруженных сил, также восходящей к началу девяностых, — а ведь в переходных обществах это далеко не всегда так, и Россия, в которой армия обладала бы автономным политическим профилем, была бы другой страной. О роли телевидения как главного инструмента управления политическим сознанием и поведением масс — в девяностые доступ к нему еще не был монополизирован, но выкован и отточен этот инструмент был тогда, преимущественно во второй половине десятилетия. Пристальный взгляд наверняка может обнаружить еще больше фундаментальных, сущностных свойств воздвигшегося в те годы, поверх советских (и погребенных под ними до советских) руин, здания.

Однако важен даже не сам перечень таких свойств, не его бóльшая или меньшая детализированность, а сам подход, сама оптика взгляда, вырабатываемая в процессе его построения и изучения. Важнее всего, что обладающая определенными свойствами конструкция сложилась как некое целое — и получилась достаточно устойчивой, чтобы выдержать без новой радикальной перестройки многочисленные бури и натиски 30 беспокойных лет. В этом доме — в этой политике — можно жить. Таков главный политический результат девяностых.

Ни один дом не может похвастаться полным и безоговорочным совершенством, и ни одна политика — тоже. Естественно, у его обитателей периодически возникает желание что-то улучшить, перепланировать, отремонтировать или реконструировать. Ни один дом не вечен, и ни одна политика — тоже. Но разумные люди, прежде чем создавать новое, в подобных случаях со всем тщанием выясняют, *как* и, главное, *почему* устроено старое. Что предполагал архитектор (а также — что им не предполагавшееся понадобилось уже в ходе строительства или эксплуатации здания). Какие функции исполняют те или иные элементы конструкции, какую нагрузку они выдерживают — и что произойдет, если их удалить или заменить чем-то другим. Декоративная балка может оказаться несущей, производящая впечатление капитальной стена — фальшпанелью, и наоборот. А может выйти и так, что случайное,

вроде бы незначительное воздействие на скрытую точку уязвимости всей конструкции приведет к полному ее обрушению. Всем тем, кто замышляет переделку российской политики — по каким угодно мотивам, в каком бы то ни было духе, — стоило бы об этом помнить. И, не имея никаких иллюзий на ее счет, трезво оценивая ее происхождение и состояние, тем не менее относиться к ней бережно, обращаться с ней осторожно. Тут люди живут.

## Библиография

- Антоний IV. (1880) «Его же грамота к Великому князю Василию Дмитриевичу с известием о мерах, принятых против непокорных митрополиту новгородцев и с укоризною за неуважение к Патриарху и Царю» // *Русская историческая библиотека*, т. VI, приложение 40. СПб.: Археографическая комиссия: стб. 266—276.
- Батурин Ю.М., А.Л.Ильин, В.Ф.Кадацкий, В.В.Костиков, М.А.Краснов, А.Я.Лившиц, К.В.Никифоров, Л.Г.Пихоя и Г.А.Сатаров. (2001) *Эпоха Ельцина: Очерки политической истории*. М.: ВАГРИУС.
- Джанда К. (1997) «Сравнение политических партий: исследования и теория» // Голосов Г.В. и Л.А.Галкина, ред. *Современная сравнительная политология: Хрестоматия*. М.: МОНФ: 84—143.
- Дьяконов М.А. (1889) *Власть московских государей*. СПб.: Типография И.Н.Скороходова.
- Зубов А.Б. (1992) «Советский Союз: из империи — в ничто?» // *Полис. Политические исследования*, № 1—2: 56—74.
- Зубок В.М. (2011) *Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева*. М.: РОССПЭН.
- Зыгарь М. (2021) *Все свободны: История о том, как в 1996 году в России закончились выборы*. М.: Альпина паблишер.
- Ильин М.В. (2021) «Формула политики» // *Полития*, № 1 (100): 18—20.
- Инглхарт Р. (2018) *Культурная эволюция: Как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир*. М.: Мысль.
- Инглхарт Р. и К.Вельцель. (2011) *Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития*. М.: Новое издательство.
- Каппелер А. (2000) *Россия — многонациональная империя*. М.: Традиция — Прогресс-Традиция.
- Каспэ И.М. (2018) *В союзе с утопией: Смысловые рубежи позднесоветской культуры*. М.: Новое литературное обозрение.
- Каспэ С.И. (2001) *Империя и модернизация: общая модель и российская специфика*. М.: РОССПЭН.
- Каспэ С.И. (2005) «Суррогат империи: о природе и происхождении федеративной политической формы» // *Полис. Политические исследования*, № 4: 5—29.
- Каспэ С.И. (2012) *Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай*. М.: РОССПЭН.

Каспэ С.И. (2018) «Заговор молчания: сопряжения сакрального и политического в дискурсивных практиках современной России» // *Социологическое обозрение*, т. 17, № 2: 9–38. URL: [https://sociologica.hse.ru/data/2018/06/30/1153085177/SocOboz\\_17\\_2\\_9-38\\_Kaspe.pdf](https://sociologica.hse.ru/data/2018/06/30/1153085177/SocOboz_17_2_9-38_Kaspe.pdf) (проверено 25.03.2021).

Каспэ С.И. (2019) «Украинский церковный раскол: политические проекции» // *Россия в глобальной политике*, т. 17, № 1: 80–93.

Колтон Т. (2013) *Ельцин*. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус.

Коргунюк Ю.Г. (2007) *Становление партийной системы в современной России*. М.: ИНДЕМ; МГПУ.

Малинова О.Ю. (2015) *Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности*. М.: Политическая энциклопедия.

Мартин Т. (2011) *Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923–1939*. М.: РОССПЭН.

«Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о правовом положении Православной Российской Церкви». (1918) // *Священный Собор Православной Российской Церкви. Собрание определений и постановлений*. Выпуск второй. Приложение к «Деяниям» второе. М.: Издание Соборного Совета: 6–8.

*Основы социальной концепции Русской Православной Церкви*. (2008) URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html> (проверено 25.02.2021).

Салмин А.М. (2009) *Современная демократия: Очерки становления и развития*. М.: Форум.

Салмин А.М. (2010а) «Метаморфоза российской демократии: от спонтанности к импровизации?» // Салмин А.М. *Избранные статьи*. М.: Форум: 472–532.

Салмин А.М. (2010б) «Российская Федерация и федерация в России» // Салмин А.М. *Избранные статьи*. М.: Форум: 378–442.

Салмин А.М. (2010с) «Русская Православная Церковь и постсоветская политика: самоопределение во времени, пространстве, культуре (1988–1998)» // Салмин А.М. *Избранные статьи*. М.: Форум, 2010: 133–170.

Салмин А.М. (2010d) «Пока не... О фундаменте здания, которое строили, начиная с крыши» // Салмин А.М. *Избранные статьи*. М.: Форум: 171–191.

Смолкин В. (2021) *Свято место пусто не бывает: История советского атеизма*. М.: Новое литературное обозрение.

Суни Р. (2004) «Диалектика империи: Россия и Советский Союз» // Герасимов И.В., С.В.Глебов, А.П.Каплуновский, М.Б.Могильнер и А.М.Семенов, ред. *Новая имперская история постсоветского пространства*. Казань: Центр исследований национализма и империи: 163–196.

Токвиль А. де. (2008) *Старый порядок и революция*. СПб.: Алетейя.

Узланер Д. (2019) *Конец религии? История теории секуляризации*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.

Филиппов А.Ф. (1992) «Наблюдатель империи (Империя как социологическое понятие и политическая проблема)» // *Вопросы социологии*, т. 1, № 1: 89—120.

Филиппов А.Ф. (2005) «Пространство политических событий» // *Полис. Политические исследования*, № 2: 6—25.

Хабермас Ю. и Й. Ратцингер (Бенедикт XVI). (2006) *Диалектика секуляризации: О разуме и религии*. М.: Библийско-богословский институт св. апостола Андрея.

Шюц А. (2008) «Некоторые структуры жизненного мира» // *Вопросы социальной теории*, т. II, вып. 1 (2): 72—87.

Andreski S. (2013) *Max Weber's Insights and Errors*. London, New York: Routledge.

Milbank J. (1990) *Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason*. Oxford, Cambridge (MA): Basil Blackwell.

Schöpflin G. (1997) «The Functions of Myth and a Taxonomy of Myths» // Hosking G. and G.Schöpflin, eds. *Myths and Nationhood*. New York: Routledge: 19—35.

Vries H. de and L.E.Sullivan, eds. (2006) *Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World*. New York: Fordham University Press.



политѡ

## S.I.Kaspe THE NINETIES: ESTABLISHMENT OF POLITY

Svyatoslav I. Kaspe — Doctor of Political Science; Professor at the Department of Politics and Governance, Faculty of Social Sciences, HSE University; Editor-in-Chief of the Journal *Politeia*. Email: kaspe@politeia.ru.

**Abstract.** In the 1990s, after the collapse of the USSR, was established the Russian polity, which continues to exist to this day. In this paper polity is understood as a macro-social community, united by a certain political order i.e., by a stable set of institutions and actors, as well as normative standards for organizing their interactions, both formal and informal. Establishment is understood as a series of events that establish these most fundamental frameworks for political action, as well as a repertoire of its scenarios, behavioral stereotypes, strategies, and tactics.

The negative myth about the nineties, which has dominated the Russian public discourse in the recent years, describes the 1990s as a time of catastrophe and degradation. It certainly has its reasons, but this myth almost completely ignores the fact that the same decade was also a time of creation. Thus, the current state of Russia cannot be understood without paying attention to the circumstances of its establishment.

The article describes some of the key features of the modern Russian polity that emerged in the 1990s — the “main takeaway” of the constituent era. They are the following: the electoral legitimacy of the supreme political power; non-partisan presidency; capitalism as the economic foundation of the political order; federalism as a principle of territorial organization of political space; freedom of association; freedom of religion; open borders. This list is not exhaustive: there are other elements of the design of the Russian polity that can claim the status of constitutive ones. However, a radical change in all these institutions together or in any one of them individually would mean another re-establishment of the political community as a whole.

**Keywords:** Russian polity, nineties, legitimacy, presidency, federalism, freedom of association, freedom of religion, open borders

## References

- Andreski S. (2013) *Max Weber's Insights and Errors*. London, New York: Routledge.
- Antony IV. (1880) “Ego zhe gramota k Velikomu knjazju Vasiliju Dmitrievichu s izvestiem o merakh, prinjatykh protiv nepokornykh mitropolitu novgorodtsev i s ukoriznoju za neuvazhenie k Patriarkhu i Tszarju” [His Letter to Grand Prince Vasily Dmitrievich on Measures Taken against the Defiant Novgorodians, Including the Blame for the Disrespect to the Patriarch and the Czar] // *Russkaja istoricheskaja biblioteka* [Russian Historical Library], vol. VI, app. 40. St Petersburg: Arkheograficheskaja komissija: col. 266—276. (In Russ.)
- Baturin Yu.M., A.L.Ilyin, V.F.Kadatsky, V.V.Kostikov, M.A.Krasnov, A.Ya.Livshits, K.V.Nikiforov, L.G.Pikhoya, and G.A.Satarov. (2001) *Epokha Yeltsina: Ocherki politicheskoy istorii* [Yeltsin's Era: Essays on Political History]. Moscow: VAGRIUS. (In Russ.)
- Colton T. (2013) *Yeltsin*. Moscow: KoLibri; Azbuka-Attikus. (In Russ.)
- Dyakonov M.A. (1889) *Vlast' moskovskikh gosudarej* [The Power of the Muscovite Czars]. St Petersburg: Tipografija I.N.Skorokhodova. (In Russ.)
- Filippov A.F. (1992) “Nabljudatel' imperii (Imperija kak sotsiologicheskoe ponjatie i politicheskaja problema)” [Observer of an Empire (Empire as a Sociological Category and as a Political Problem)] // *Voprosy sotsiologii* [Sociological Issues], vol. 1, no. 1: 89—120. (In Russ.)
- Filippov A.F. (2005) “Prostranstvo politicheskikh sobytij” [Space of Political Events] // *Polis. Politicheskie issledovaniya* [Polis. Political Studies], no. 2: 6—25. (In Russ.)

Habermas J. and J.Ratzinger (Benedict XVI). (2006) *Dialektika sekularizatsii: O razume i religii* [Dialektik der Säkularisierung: Über Vernunft und Religion]. Moscow: Biblejsko-bogoslovskij institut sv. apostola Andreja. (In Russ.)

Ilyin M.V. (2021) “Formula politii” [Formula of Politeia] // *Politeia*, no. 1 (100): 18–20. (In Russ.)

Inglehart R. (2018) *Kul’turnaja evoljutsija: Kak izmenjajutsja che-lovecheskie motivatsii i kak eto menjaet mir* [Cultural Evolution: How Human Motivations Change and How It Changes the World]. Moscow: Mysl’. (In Russ.)

Inglehart R. and Ch.Welzel. (2011) *Modernizatsija, kul’turnye izmenenija i demokratija: Posledovatel’nost’ chelovecheskogo razvitija* [Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence]. Moscow: Novoe izdatel’stvo. (In Russ.)

Janda K. (1997) “Sravnenie politicheskikh partij: issledovanija i teorija” [Comparative Political Parties: Research and Theory] // Golosov G.V. and L.A.Galkina, eds. *Sovremennaja sravnitel’naja politologija: Khrestomatija* [Modern Comparative Politics: Anthology]. Moscow: MONF: 84–143. (In Russ.)

Kappeler A. (2000) *Rossija — mnogonatsional’naja imperija* [The Russian Empire: A Multi-Ethnic History]. Moscow: Traditsija — Progress-Traditsija. (In Russ.)

Kaspe I.M. (2018) *V sojuze s utopiej: Smyslovyje rubezhi pozdnesovetskoj kul’tury* [In Alliance with Utopia: The Semantic Frontiers of Late Soviet Culture]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)

Kaspe S.I. (2001) *Imperija i modernizatsija: obshchaja model’ i rossijskaja spetsifika* [Empire and Modernization: The General Model and Russian Specificity]. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

Kaspe S.I. (2005) “Surrogat imperii: o prirode i proiskhozhdenii federativnoj politicheskoj formy” [Empire Substitute: On the Nature and Origin of the Federative Political Form] // *Polis. Politicheskie issledovanija* [Polis. Political Studies], no. 4: 5–29. (In Russ.)

Kaspe S.I. (2012) *Politicheskaja teologija i nation-building: obshchie polozenija, rossijskij sluchaj* [Political Theology and Nation-Building: General Provisions, Russian Case]. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

Kaspe S.I. (2018) “Zagovor molchanija: soprjazhenija sakral’nogo i politicheskogo v diskursivnykh praktikakh sovremennoj Rossii” [A Conspiracy of Silence: Interfaces of the Sacred and the Political in the Discursive Practices of Modern Russia] // *Sotsiologicheskoe obozrenie* [Russian Sociological Review], vol. 17, no. 2: 9–38. URL: [https://sociologica.hse.ru/data/2018/06/30/1153085177/SocOboz\\_17\\_2\\_9-38\\_Kaspe.pdf](https://sociologica.hse.ru/data/2018/06/30/1153085177/SocOboz_17_2_9-38_Kaspe.pdf) (accessed on 25.03.2021). (In Russ.)

Kaspe S.I. (2019) “Ukrainskij tserkovnyj raskol: politicheskie proektsii” [Ukrainian Church Schism: Political Ramifications] // *Rossija v global’noj politike* [Russia in Global Affairs], vol. 17, no. 1: 80–93. (In Russ.)

Korgunyuk Yu.G. (2007) *Stanovlenie partijnoj sistemy v sovremennoj Rossii* [Formation of Political System in Modern Russia]. Moscow: INDEM; MGPU. (In Russ.)

Malinova O.Yu. (2015) *Aktual'noe proshloe: Simvolicheskaja politika vlastvujushchej elity i dilemmy rossijskoj identichnosti* [Actual Past: A Symbolic Policy of the Governing Elite and Dilemmas of Russian Identity]. Moscow: Politicheskaja entsiklopedija. (In Russ.)

Martin T. (2011) *Imperija "polozhitel'noj dejatel'nosti": Natsii i natsionalizm v SSSR, 1923—1939* [The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939]. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

Milbank J. (1990) *Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason*. Oxford, Cambridge (MA): Basil Blackwell.

“Opređenje Svjashchennogo Sobora Pravoslavnoj Rossijskoj Tserkvi o pravovom položženii Pravoslavnoj Rossijskoj Tserkvi” [The Judgment of the Holy Council of the Russian Orthodox Church on the Legal Status of the Russian Orthodox Church]. (1918) // *Svjashchennyj Sobor Pravoslavnoj Rossijskoj Tserkvi. Sobranie opredelenij i postanovlenij* [The Holy Council of the Russian Orthodox Church. Collection of the Judgments and Ordinances]. Issue 2. The Second Annex to the “Acts”. Moscow: Izdanie Sobornogo Soveta: 6—8. (In Russ.)

*Osnovy sotsial'noj kontseptsii Russkoj Pravoslavnoj Tserkvi* [The Basis of the Social Concept of the Russian Orthodox Church]. (2008) URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html> (accessed on 25.02.2021). (In Russ.)

Salmin A.M. (2009) *Sovremennaja demokratija: Očerki stanovlenija i razvitija* [Modern Democracy: Essays on Its Formation and Development]. Moscow: Forum. (In Russ.)

Salmin A.M. (2010a) “Metamorfoza rossijskoj demokratii: ot spontannosti k improvizatsii?” [Metamorphosis of Russian Democracy — From Spontaneity to Improvisation?] // Salmin A.M. *Izbrannye stat'i* [Selected Papers]. Moscow: Forum: 472—532. (In Russ.)

Salmin A.M. (2010b) “Rossijskaja Federatsija i federatsija v Rossii” [Russian Federation and Federation in Russia] // Salmin A.M. *Izbrannye stat'i* [Selected Papers]. Moscow: Forum: 378—442. (In Russ.)

Salmin A.M. (2010c) “Russkaja Pravoslavnaja Tserkov' i postsovetskaja politija: samoopredelenie vo vremeni, prostranstve, kul'ture (1988—1998)” [Russian Orthodox Church and Post-Soviet Polity: Self-determination in Time, Space, and Culture (1988—1998)] // Salmin A.M. *Izbrannye stat'i* [Selected Papers]. Moscow: Forum: 133—170. (In Russ.)

Salmin A.M. (2010d) “Poka ne... O fundamente zdanija, kotoroe stroili, nachinaja s kryshi” [Not Yet... About the Foundations of the Edifice That Was Built from the Roof] // Salmin A.M. *Izbrannye stat'i* [Selected Papers]. Moscow: Forum: 171—191. (In Russ.)

Schöpflin G. (1997) “The Functions of Myth and a Taxonomy of Myths” // Hosking G. and G.Schöpflin, eds. *Myths and Nationhood*. New York: Routledge: 19—35.

Schutz A. (2008) “Nekotorye struktury zhiznennogo mira” [Some Structures of the Life-World] // *Voprosy sotsial'noj teorii* [Issues of Social Theory], vol. II, issue 1 (2): 72—87. (In Russ.)

Smolkin V. (2021) *Svjato mesto pusto ne byvaet: Istorija sovetskogo ateizma* [A Sacred Space Is Never Empty: A History of Soviet Atheism]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)

Suny R. (2004) “Dialektika imperii: Rossiia i Sovetskij Sojuz” [Dialectics of Empire: Russia and the Soviet Union] // Gerasimov I.V., S.V.Glebov, A.P.Kaplunovsky, M.B.Mogilner, and A.M.Semenov, eds. *Novaja imperskaja istorija postsovetskogo prostranstva* [A New Imperial History of the Post-Soviet Space]. Kazan: Tsentr issledovanij natsionalizma i imperii: 163–196. (In Russ.)

Tocqueville A. de. (2008) *Staryj porjadok i revoljutsija* [L’ancien régime et la révolution]. St Petersburg: Aletheia. (In Russ.)

Uzlaner D. (2019) *Konets religii? Istorija teorii sekularizatsii* [The End of Religion? A History of Secularization Theory]. Moscow: Izdatel’skij dom Vysshej shkoly ekonomiki. (In Russ.)

Vries H. de and L.E.Sullivan, eds. (2006) *Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World*. New York: Fordham University Press.

Zubok V.M. (2011) *Neudavshajasja imperija: Sovetskij Sojuz v khodnoj vojne ot Stalina do Gorbacheva* [A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev]. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

Zubov A.B. (1992) “Sovetskij Sojuz: iz imperii — v nichto?” [The Soviet Union: from the Empire into Nothing?] // *Polis. Politicheskie issledovanija* [Polis. Political Studies], no. 1–2: 56–74. (In Russ.)

Zygar M. (2021) *Vse svobodny: Istorija o tom, kak v 1996 godu v Rossii zakonchilis’ vubory* [Everyone Is Free: The Story of How the Elections Ended in Russia in 1996]. Moscow: Alpina publisher. (In Russ.)